

# Н. Н. СТРАХОВ

(ОЧЕРК ЕГО ФИЛОСОФСКОГО ПУТИ)

Имя Страхова сравнительно известно. Однако, о творчестве его мало кто имеет конкретное представление. А между тем уже факт близости Страхова к Толстому и Достоевскому, особенно к первому — говорит о многом. Переписка Страхова с Л. Толстым — один из ценнейших исторических и человеческих документов. Известно, что Страхов сотрудничал в 60-ые годы с Достоевским и был как бы философским «информатором» великого писателя. Одно время Страхов дружил с Вл. Соловьевым, но дружба эта вскоре перешла во вражду. Полемика между обоими мыслителями представляет интересный эпизод в истории русской мысли. Страхов же был литературным «крестным отцом» В. Розанова, которого он «вывел» в знаменитости.

Уже эти факты указывают на то, что Страхов стоял близко к главному творческому потоку русской культуры. Но ошибочно было бы видеть в нем своего рода русского Эккермана, который ценен лишь тем, что он был близок к творческим гениям. Тот факт, что Страхову выпала счастливая доля быть современником гигантов, — неблагоприятно отразился на его собственной литературной славе. Но если Страхов был заслонен гигантами, это отнюдь не делает его карликом. Страхов был человеком и мыслителем крупного масштаба, который был бы по справедливости оценен, случись ему жить и действовать в другой стране.

Внешняя жизнь Страхова не богата событиями. Родился он 16 октября 1828 года, в Белгороде, Курской губернии, был сыном ученого священника. Окончив белгородскую семинарию, Страхов не захотел, однако, стать священником. Он поступил в 1845 году на естественно-математический факультет Петербургского университета, который окончил в 1851 г. Магистерская диссертация его была на тему «Запястья млекопитающихся». В 1858 году он опубликовал «Письма об органической жизни» — опыт философии природы, который обратил на себя внимание Аполлона Григорьева. Григорьев

оказал на Страхова некоторое влияние, и Страхов вскоре стал единомышленником «почвенников», к которым принадлежал и Достоевский. С 1861 года, он сотрудничает в журнале «Время», издаваемом братьями Достоевскими, и пишет ряд полемических статей против Чернышевского и Писарева. После закрытия «Времени» и сменившей его «Эпохи», Страхов зарабатывает себе на жизнь переводами. Он переводит на русский язык ряд книг, в том числе «Историю материализма» Ланге и «Историю новой философии» Куно Фишера. В 1872 г. он издает свой основной труд «Мир как целое», где он делает не-материалистические выводы из данных естествознания. С 1873 года он поступает на службу библиотекарем юридического отдела Петербургской Публичной Библиотеки, не прекращая, в то же время, своей литературной деятельности. В 80-х и особенно в 90-х годах он издает ряд книг — как сборников старых статей, так и новых философских исследований; в том числе «Из истории русского литературного нигилизма», «Борьба с Западом в нашей литературе», «Основные понятия психологии и физиологии» и «О вечных истинах».

Страхов начал свою деятельность как философствующий публицист и как литературный критик. Известно, что за его статью «Роковой вопрос», посвященную польскому восстанию 1863 года, был закрыт журнал «Время», где редактором состоял Достоевский. Это было актом недоразумения, ибо Страхов стоял на патриотической точке зрения, но в первой половине статьи старался по возможности объективно изложить точку зрения польских патриотов. В начале 70-х годов Страхов написал ряд критических очерков о Льве Толстом и был одним из первых, оценивших по существу монументальное значение «Войны и мира».

Однако, по своему основному призванию, Страхов был прежде всего философом. Если он не создал собственной системы, то он был одним из самых тонких критических умов своего времени. Вдумчивость, серьезность, зрелость и ясность мысли отличают философские труды Страхова. Впрочем, он умел загораться и в полемике, и почти все свободное от основных трудов время «проспорил». Его полемика была чужда бьющих на эффект выпадов — в самую горячую полемику он умел вносить принципиальность, глубину и серьезность.

Но, с другой стороны, и самые академические, философские труды его были полемичны «в высшем смысле». Стра-

хов был одним из самых бескомпромиссных противников той, по слову Достоевского, «полунауки», которой сам Страхов дал прозвище «просвещенства». Конкретно говоря, он был врагом атеизма и материализма, — кумиров большинства интеллигенции 60-х и 70-х годов. Важно подчеркнуть что Страхов вел эту борьбу не с прямо выраженных религиозно-философских позиций. Хотя он сам был человек религиозный (впрочем, не слишком церковный), его критика атеизма и материализма носит скорее характер опровержения, чем обличения. Он не богословствовал, а лишь подводил к порогу религии.

---

Наряду с Аполлоном Григорьевым и Достоевским, Страхов принадлежал к «почвенникам» — умеренному крылу позднего славянофильства. Он был также почитателем (и издателем) Н. П. Данилевского, второе издание книги которого «Россия и Европа» вышло в свет благодаря его усилиям. Это направление славянофильства у нас сравнительно мало изучено. Многие критики обвиняли «почвенников» в отступлении от высоких заветов первоначального славянофильства. Однако, между государственными славянофилами стиля Каткова или Победоносцева и почвенниками была дистанция огромного размера. Почвенники не разделяли православного мессианизма первоначальных славянофилов, хотя и связывали русскость с православием. Они более интересовались естественными науками (дань эпохе) и стремились дать славянофильству научную базу, будучи, однако, противниками материализма. Почвенники защищали «этический национализм» и были более позитивны в трактовке проблем светской культуры. Они скорее подводили к православию, чем исходили из него. Конечно, между почвенниками были большие индивидуальные отличия. Григорьев был романтически настроенным нео-шеллингианцем, Достоевский — религиозным народником. Что же касается Страхова, то он был наиболее «позитивным» и наименее «славянофильски» настроенным из почвенников. Хотя он был человеком религиозным, — и прав Розанов, считая религиозную тему для него центральной, — религиозное начало у него скорее угадывалось, чем непосредственно проявлялось.

По всем этим причинам, Страхов был наименее характерной фигурой в рядах «почвенников», хотя философски он среди них был наиболее значителен. Интересы Страхова

носили чрезвычайно разносторонний характер, он был настоящим энциклопедистом. Именно поэтому ему не подходило быть глашатаем того течения, к которому он примкнул. Для того, чтобы быть «лидером», требуется устремленность к одной цели, одушевленность одной идеей. И хотя Страхова нельзя упрекнуть в эклектизме, на всем его творчестве все же лежит печать недоговоренности, что признал и его почитатель Розанов. Страхов не был книжным червем, но разносторонность его познаний и широта его интересов нередко заслоняли те идеи, которые он стремился высказать.

Первая — и философски наиболее цельная книга Страхова — «Мир как целое». В этой книге Страхов стремится дать систему «рационального естествознания», в противовес господствующему в те годы почти повсеместному увлечению материализмом. Страхов стоит здесь на позициях гегелианства, правда, с весьма существенными поправками. Признавая и утверждая примат духовного начала, Страхов настаивает в то же время на ценности опыта и на «неотменяемости законов внешней, механической природы». Гегелианский пан-идеализм совмещается у него с декартовским дуализмом.

— «Вещество есть чистый объект», пишет он, «то есть, нечто вполне познаваемое, но нимало не познающее. Дух, напротив, — чистый субъект, то есть, нечто познающее, но недоступное объективному познанию. Дух не имеет в себе ничего внешнего, в нем все — внутреннее. Субъективный и объективный миры строго разграничены, но второй служит для выражения первого».

Прослеживая эволюцию материи (под воздействием духовного начала), Страхов настаивает на «центральнойности положения человека в мире».

В человеке, по Страхову, совмещаются все пласты бытия, в нем субъективный и объективный миры связаны более интимно и более явственно, чем в других существах. В то же время человек — в силу своей сложности — наиболее хрупкое существо. — «Я царь, я раб, я червь, я Бог». В совместимости противоречивых качеств — рациональная непостижимость человека. «Человек есть величайшая загадка, узел мироздания» — пишет он.

«Редко кто хочет признать центральное положение человека» — продолжает Страхов. — «Они полагают центр в другом месте, в мирах иных, во всяком случае, в чем-то более глубоком, далеком, таинственном и необъятном, а не

в столь известной и довольно жалкой вещи, как человек. Между тем, где было найдено природное существо более загадочное, более высокое, более таинственное, более сложное чем человек?».

Как видно отсюда, идея «философской антропологии», высказанная Максом Шеллером в конце 20-х годов этого века, была предвосхищена Страховым еще в 70-х годах прошлого столетия.

Естественно, что, стоя на таких антропологических позициях, Страхов был готов вести борьбу на два фронта — против пренебрежения человеком как во имя материи, так и во имя (ложно понятого) духа.

Что касается притязаний материализма, — Страхов решительно отвергал их по гносеологическим соображениям — материализм, по его мнению, не менее догматичен, чем богословие. «Притязания наук (на материалистическое объяснение мироздания) зависят от того великого несовершенства, в котором они находятся» — писал он.

Будучи поклонником строгой научности, Страхов понимал в то же время, что наука и разум не охватывают собой глубин жизни и духа, он понимал, что главной движущей силой человеческих побуждений являются мотивы иррационального характера, — как в высшем, так и в низшем значении слова «иррациональное». Мало того, он утверждал, что «человек почему-то враждует против рационализма», и что «отдать себе отчет в этой вражде есть величайшая задача мысли».

Сам Страхов не дал, однако, исчерпывающего ответа на этот вопрос. Он, правда, сочувственно отзывается о Шопенгауэре, нередко цитирует его<sup>1</sup>. Но сам он нигде не примыкает к метафизике иррационального волюнтаризма.

По существу, главной движущей силой была для него сила религиозная, но об этом можно утверждать более на основании его переписки (особенно с Толстым), нежели по его прямым философским высказываниям.

Как бы то ни было, в период поголовного увлечения материализмом (60-ые, 70-ые годы) Страхов считал своим философским долгом вести борьбу против этого «плоского»

---

<sup>1</sup> «Пессимизм есть основная черта религиозного умонастроения» — замечает он по поводу Шопенгауэра.

направления в философии, обожествлявшего слепую материю. В этом духе и написаны его полемические статьи против Чернышевского и Писарева, полные метких обличений и характеристик.

Но в конце 70-х годов, когда часть интеллигенции увлеклась временно спиритуализмом (под влиянием лорда Редстока), Страхов выступил против неумеренного спиритуализма, опять-таки во имя науки и разума.

В статьях, изданных впоследствии под заглавием «Вечные истины», он настаивал на «неотменяемости законов механической природы» и утверждал, что закон сохранения энергии, который якобы опровергался спиритическими экспериментами, остается в полной силе, так как он есть прежде всего закон разума. Каковы бы ни были спиритические явления — говорил он, — они не могут поколебать незыблемости основных истин разума. В этом отношении особенно интересна его полемика с Бутлеровым. Некоторые критики начали даже упрекать Страхова в «материализме», что можно объяснить лишь полемическим задором. Главное обвинение Страхова по адресу спиритов заключалось в том, что они ложно, по-материалистически, понимают духовное. «Спиритизм со всеми его попытками вообразить духовное и поймать его в действительности есть превосходный и поразительный пример того, как не следует понимать духовное» — писал он.

По поводу этой полемики даже Вл. Соловьев заметил, что Страхов отдает слишком солидную дань материализму. Однако, этот упрек несправедлив. Страхов твердо верил в то, что Н. Лосский назвал «формальной разумностью мира» — в неотменимость логических законов. Сам видя недостаточность рационализма, Страхов в то же время утверждал, что в своей сфере рационализм неопровержим, что есть «вечные истины», без которых нельзя строить ни истинной науки, ни истинной философии. Страхов отказывался отречься от разума как во имя материи, так и в имя (ложно понятого) духа.

Однако, главные полемические стрелы Страхова все же были направлены против «просвещения», в его материалистическом оформлении. Поэтому на его полемике против «просвещения» и материализма мы остановимся подробнее.

Страхов приводит ставшие теперь общеизвестными доводы против материализма: материализм отрицает метафи-

зику, а сам строит упрощенную метафизику, видя в материи Абсолют. Далее, материализм не в силах объяснить переход от материи к ощущениям и от ощущений — к познанию.

Но главная ценность полемики Страхова в том, что он хорошо уловил психологическую подоплеку успеха материалистического учения, — те выводы, которые делаются из материализма и которыми он соблазняет философски малоискушенных людей.

«Материализм — самая легкая метафизика, а эмпиризм — самая легкая теория знания — вот в чем сила этих учений. Материализм есть учение, при котором мы получаем полную свободу действовать... Ради этой свободы люди готовы приравнять себя к муравьям и пчелам, лишь бы избежать обязательства, которое накладывает на человека его исконная природа — вот объяснение великой притягательности этого учения».

В едких выражениях Страхов протестовал против этого материалистического «наваждения», готового во имя мнимых достижений науки продать первородство человеческого духа.

«Нет, это безумие имеет своим источником не любовь к людям, которую они осмеливаются писать на своем знамени, а именно бессердечие, отсутствие истинного добра, нравственную слепоту. Это не живое, теплое стремление сердца, а, напротив, отвлеченная ожесточенность, холодный головной порыв».

Страхов правильно видит в основе этого идолопоклонства материалистической цивилизации «безумие рационализма», — слепую веру в разум, заменившую истинную веру в религиозный смысл жизни. «Эти скептики» — замечает он, «в одном только никогда не сомневаются — в силе своего собственного разума... между тем, их вера в разум — слепая и фанатическая». «Теперь последний тупица возомнил» — замечает он далее, «что он может стать наряду с первыми умами человечества... Они бродят в ужаснейших потемках, воображая, что их окружает свет и что даже они сами носители этого света».

Страхов правильно видит религиозную пустоту, осушение нравственных источников сердца, как первоисточник кризиса безбожной цивилизации. «Легче человеку поклониться злу, чем остаться вовсе без предмета поклонения. Но какая глубокая разница между настоящей религией и тем сурро-

гатом религии, который в различных формах все больше и больше овладевает теперь европейскими людьми. Человек, ищущий спасения души, выше всего ставит чистоту души, избегает всего дурного. Человек же, поставивший себе цель достигнуть объективного результата, должен рано или поздно прийти к мысли, что цель освящает средства, что нужно жертвовать даже совестью, если того непременно потребует дело».

Эти последние слова могли бы быть написаны Достоевским или К. Леонтьевым — в них Страхов достигает вершин своей полемической проницательности. Далее, Страхов бросает замечание, звучащее в наши дни особенно актуально: «Потребность действовать в современном человеке иногда даже сильнее, чем потребность верить, и поэтому он даже жертвует тому, во что почти не верит».

«Люди не одумаются и не остановятся», — добавляет он, «до тех пор, пока не изживут нынешних понятий, и на деле, в жизни, не испытают того, к чему их ведут теперешние желания. Поэтому можно предвидеть великие бедствия, страшные потрясения. Люди долго будут слепы и не будут внимать самым ясным урокам, самым горьким опытам».

Последние слова звучат совсем в духе и даже в стиле К. Леонтьева и делают честь пророческой проницательности Страхова. Страхов считал, что единственным противоядием против болезни «просвещенства» является живое соприкосновение с родной почвой, с народом, сохранившим, по его мнению, в своем быту здоровые религиозно-моральные устои. Но положительная сторона его учения выражена у него слабее и менее оригинально, чем его тонкие критические замечания.

В наше время приходится добавить, что заодно со славянофилами, Страхов ошибался в том, что болезнь «просвещенства» есть специфически западная болезнь. Она, правда, зародилась на Западе, но приобрела давно уже всемирный, а не местный только характер. Но это несколько не снижает тонкости и проницательности его разоблачений духовных корней кризиса. В частности, его заслугой остается, что критике рационализма, намеченной Хомяковым и Киреевским, Страхов дал более конкретные формы, распознав идолопоклонство рассудка как один из главных его корней.

### СТРАХОВ И ВЛ. СОЛОВЬЕВ

Спор Страхова с Вл. Соловьевым заслуживает особого



внимания. Здесь столкнулись вдохновенный богословский романтик и трезвый реалист, отказавшийся покидать твердую почву априорных умозрений и непосредственного опыта. Это, конечно, не был спор материалиста с идеалистом, он напоминал скорее спор между кантианцами и гегелианцами. К сожалению, спор между обоими философами разгорелся не по основным вопросам мирозерцания, а по частному вопросу — вокруг книги Данилевского «Россия и Европа», то есть, в плоскости спора между славянофильством и западничеством. Парадоксально при этом, что религиозный философ по преимуществу, Вл. Соловьев становится на сторону западников, а более позитивно настроенный Страхов — на сторону славянофилов. Поскольку Страхова этот спор задевал лично, мы скажем несколько слов об отношениях между обоими философами.

Личные отношения Страхова и Вл. Соловьева отражают взаимное притяжение, с одной стороны, и отталкивание, с другой. Инициатива сближения исходила, повидимому, от Соловьева. «Вчера заходил ко мне Вл. Соловьев», пишет Страхов Толстому в мае 1877 года. «Кажется, мы заведем с ним дружбу». Но, несколькими днями позже, он пишет о Соловьеве с раздражением: «Вы никогда не разберете, откуда он идет, что у него свое, что чужое, что прибавлено, и что вопрос». Упрек этот частично справедлив, но Страхов упускал из виду, что Соловьев строил систему, и что включение чужих мыслей в собственные построения при этом неизбежно.

Тем не менее, в письме от апреля 1878 года он пишет о «Чтениях о богочеловечестве». «Последняя лекция Соловьева была очень эффектна. С большим даром он сказал несколько слов против догмата о вечных мучениях». В то же время от зоркого внимания Страхова не ускользнул уклон в пантеизм, которым страдал Соловьев. «Грех и материя — необходимые условия для этого богочеловеческого процесса», продолжает он описание лекции Соловьева, и продолжает: «выходит пантеизм, совершенно похожий на гегелевский, только с вторым пришествием впереди».

По поводу диспута о докторской диссертации Соловьева «Критика отвлеченных начал», состоявшегося 6 апреля 1888 года, Страхов замечает: «Вчера совершилось великое торжество — был диспут Соловьева на доктора философии. Сам он был великолепен: так спокоен, прост, так мастерски говорил». В ноябре 1880 года, по поводу лекций Соловьева

на женских курсах, Страхов замечает: «Соловьев начал свои лекции на женских курсах. Он читает историю философии, рассматривая ее в зависимости от истории религии. Девушки теснятся до того, что падают в обморок».

Несколькими днями позже он пишет так, как будто сам увлечен Соловьевым: «И вторая лекция была блистательна. Соловьев постарался говорить ясно, свято, одушевленно. Тема — что сделала философия в истории человечества. Он утверждал, что она возвысила человеческую личность, освободила ее от гнета религий и власти».

Страхов был настолько заинтересован тогда Соловьевым, что устроил его свидание с Л. Толстым. Свидание это состоялось летом 1883 года в Ясной Поляне, куда приезжал Соловьев. Повидимому и на строгого Льва Толстого Соловьев произвел тогда благоприятное впечатление. В письме к Страхову Толстой пишет: «Соловьев — молодец. Когда он уезжал, я сказал ему: «дорого то, что мы согласны в главном — в нравственном учении, и будем дорожить этим согласием».

Страхов с полным признанием отнесся также к следующей книге Соловьева «Религиозные основы жизни» (впоследствии названной «Духовные основы жизни»). «Читали ли вы последнюю книгу Соловьева», спрашивает он Л. Толстого. «Она занимает меня в последнее время. Это — почти полная параллель вашему толкованию Евангелия в книге «В чем моя вера». Прочтите книжку Соловьева — она того стоит».

Далее, однако, отношения между Страховым и Соловьевым начинают портиться. Поводом был пресловутый спор между ними из-за книги Данилевского «Россия и Европа».

Параллельно, прежнее восхищение Соловьевым уступает место резким критическим отзывам. «Когда я подумаю», пишет Страхов Толстому в апреле 1888 года, «что он ничего не знает основательно... что он постоянно только выкидывает фокусы и выставляет себя — таковы были его лекции в университете — то, несмотря на его удивительные способности, я начинаю видеть в нем актера, а не мыслителя и писателя, да и актера то, чем-то одурманенного». «Когда я читаю Соловьева» — добавляет Страхов, «то ни в одной строке не чувствую живого человека, а везде — сочинение. У Соловьева — жажда обмана, желание уйти в фантастический мир, который он себе строит».

Лев Толстой реагировал на эти выпады Страхова весьма вяло — он был слишком погружен в свои искания нравствен-

ной правды. В одном из писем он замечает: «охота вам заниматься таким сором, как сочинения Соловьева». Далее, Толстой советует Страхову бросить этот «бесплодный и ненужный спор». Однако, Страхов был слишком задет Соловьевым, чтобы исполнить совет Толстого. «Всего менее радует меня полемика с Соловьевым, но, право, я не виноват».

Полемика со Страховым занимает значительную часть статей Соловьева, вошедших в его знаменитый сборник «Национальный вопрос в России». В процессе этой полемики, Соловьев, вначале отдававший должное своим прежним единомышленникам-славянофилам, становился всё более нетерпимым и резким. Страхов же, несмотря на то, что нападки Соловьева глубоко задевали и угнетали его, сохранял бóльшую сдержанность. Статьи Соловьева написаны блестяще. Ни один западник не умел так метко уязвлять своих противников, как вышедший сам из недр славянофильства религиозный философ. Страхов писал гораздо бледнее и не обладал таким ярким публицистическим талантом, как Соловьев. Поэтому, в глазах большинства, Соловьев вышел из этой полемики победителем. Во многом Соловьев был прав и по существу: то выдвижение национальной идеи на первый план перед идеей религиозной, которое было характерно для второго поколения славянофилов, — справедливо возбуждало негодование философа. А что касается наиболее реакционного крыла славянофилов, то нападки его попадали им не в бровь, а в глаз. Однако, по отношению к Данилевскому и Страхову нападки Соловьева были зачастую преувеличены и били более на «пропагандный» эффект. Страхов, как бывший друг Данилевского, принял на себя удары Соловьева. На обвинения по адресу Данилевского в том, что он, своей теорией о множественности непроницаемых культурно-исторических типов, разрывает единство христианской цивилизации, Страхов отвечал, что христианство не вмещается главным своим ядром в плоскость «цивилизации», что единство человечества скорее задано, чем дано, и лежит в сверх-исторической плоскости.

На обвинения Соловьева в том, что Данилевский совершил «плагиат» у немецкого историка Рюккерта, Страхов отвечал, что на связь идей Данилевского и Рюккерта указал впервые именно он, Страхов, но что Данилевский не знал работ Рюккерта и развил идею о множественности культурных типов полнее и последовательнее, чем Рюккерт.

Соловьев попутно подверг критике книгу самого Страхова «Борьба с Западом в нашей литературе», — по суще-

ству, сборник статей, касавшихся этой темы, а не систематическое исследование.

«Почему рассуждения о различных явлениях умственной жизни Запада — рассуждения, которые могли бы принадлежать любому образованному европейцу консервативного направления — почему эти рассуждения выдаются за борьбу с Западом?» — спрашивал он.

Книга Страхова, действительно, разочаровывает из-за своего претенциозного заглавия. Однако, в ней рассыпаны меткие характеристики Герцена (Страхов был из первых, указавших на значение Герцена как философа), Милля, Ренана и других. Главное же — в этой книге Страхова немало метких обличительных характеристик «просвещения». По тону отзыва Соловьева видно, что он и не думал отрицать ценности книги Страхова, а направил свои полемические стрелы именно против претенциозного заглавия.

Спор между Страховым и Соловьевым бывал затемнением различными второстепенными вопросами, сейчас потерявшими свою актуальность. Заметим также, что если для Соловьева Страхов явился удобной мишенью, то Страхов переживал этот спор очень мучительно. Его самолюбие было задето тем, что на глазах у публики его побеждает вчерашний друг, сегодняшней враг и философский счастливый соперник. Ему было также обидно, что Соловьев как будто замалчивал и искажал ту правду, которую отстаивал Страхов, стремясь, главным образом, выискать у него уязвимые места, составлявшие общее достояние славянофильства.

По существу, спор между обоими философами закончился вничью. Соловьев справедливо указывал на необоснованность многих славянофильских претензий, особенно на претензию исключительного избранничества русского народа. Но Страхов, в свою очередь, справедливо указывал на то, что Соловьев чересчур тесно сближает исторический процесс и религиозное откровение и что он «отмахивается» от существа спора.

В связи с этим Страхов упрекает Соловьева в «культуโรปоклонстве». «Как только мы признаем, что существовали и всегда будут существовать разнородные культуры, то мы поймем, что никакая культура не может быть высшей целью человеческой деятельности» — пишет он. — «У нас бывают цели и стремления, которые мы ставим выше всякой культуры и всякой истории».

В глазах Страхова, релятивизация культуры (у Данилевского, в наше время у Шпенглера и у Тойнби) является лишним указанием на абсолютность религии. «Мы ставим себе правила действия, справляясь не с историей, а со своей совестью». «Бог и Его святая Церковь» — ставит точки над «и» Страхов, — «вот что выше всего для человека, твердо держащегося православия... Религиозная и нравственная область стоит для человека выше истории, культуры и всякой политики. С религией, очевидно, несовместимо поклонение единому человечеству и единой культуре».

Страхов правильно угадал в соловьевских построениях элемент исторического пантеизма — его убеждения в том, что исторический процесс есть процесс воплощения Богочеловечества. В связи с этим Страхов тонко замечает, что «у Соловьева идея развития как будто подменяет идею творения». За эти же теократические мечты напал на Соловьева — и полемически более удачно — Константин Леонтьев. Можно полагать, что Соловьев сам сознавал, что в своей полемике против славянофильства вообще и Страхова, в частности, он был не совсем прав. Но Соловьев нарочито прибегал к «христианской политике» в интересах той теократической идеи, в которую он верил. Об этом свидетельствует его письмо Страхову, где он прямо пишет: «Вы смотрите на историю как китаец-буддист, и для вас не имеет никакого смысла мой еврейски-христианский вопрос: полезно или вредно данное умственное явление для сверхчеловеческого дела в данную историческую минуту».

В ответ на это Страхов замечает в письме к Л. Толстому: «Соловьев как пророк все решил и, конечно, как Инквизитор, сжег бы меня и все экземпляры «России и Европы».

### СТРАХОВ И ТОЛСТОЙ

Отношения между Страховым и Толстым заслуживали бы целого исследования. Их переписка дает богатейший материал для углубленного проникновения в творческий мир писателя. До сих пор, по естественным причинам, переписка привлекала внимание исследователей с точки зрения познания Толстого. В настоящей работе, посвященной Страхову, мы остановимся на этой переписке как на материале для понимания Страхова. При этом мы ограничимся, по преимуществу, философской стороной вопроса.

Как известно, Страхов был первым литературным критиком, оценившим все эпохальное значение «Войны и мира». Впоследствии Страхов чрезвычайно гордился своим критическим подвигом и назвал свои этюды о «Войне и мире» «критической поэмой в четырех песнях». «Полная картина тогдашней России, полная картина жизни человеческой» — восклицал он. В настоящее время многие замечания Страхова могут показаться «общими местами». Универсальный творческий диапазон Толстого, его умение с одинаковым искусством рисовать как массовые сцены, так и великосветские салоны, равно как проникать в интимнейшую суть переживаний индивидуальных героев, передача духа семейной атмосферы, поэтичность и, нередко, беспощадность его нравственных характеристик — эти и многие другие черты толстовского гения были подчеркнуты Страховым в его критическом разборе. Страхов же первый без колебания назвал «Войну и мир» «величайшей художественной эпопеей всей европейской литературы» в период, когда русская критика еще не вполне осознала величие русской литературы и толстовского гения. Но нужно заметить, что эта характеристика толстовского гения стала «общим местом» именно с легкой руки Страхова.

Помимо эстетической оценки Толстого, Страхов внес в свою критику и философский момент: применяя идеи Аполлона Григорьева о «смирном русском типе», о простоте и правдивости, как о главных чертах русского национального характера, Страхов увидел в «Войне и мире» противопоставление этой русской нравственной «круглости» — западному индивидуализму и театральной подаче героев.

«Анна Каренина» также нашла в Страхове своего восторженного критика. «Становится страшно за ваших героев перед лицом вашего беспощадного нравственного суда над ними», — писал он Толстому.

Называя Толстого «несравненным гением», Страхов еще более ценил нравственный мир Толстого, который он характеризовал как правду, чистоту и добро в их высшем синтезе. После личного знакомства с Толстым, которое «случилось» в 1871 году, преклонение Страхова еще усилилось под влиянием завязавшейся личной дружбы. Страхов становится нередким гостем в Ясной Поляне. Свидания с Толстым доставляют ему «минуты удивительного восторга». «Я вас ставлю выше всех» — пишет он в одном из писем. Письма Страхова

ва пестрят эпитетами «бесценный», «бесконечноуважаемый», «поклоняемый и завидуемый».

Правильно замечал Н. Михайловский, что Страхова нельзя иначе вообразить рядом с Толстым, как «коленопреклоненным».

В одном из писем Толстому Страхов так исповедуется в своей любви к Толстому. «В Ясной Поляне возможны всякие бедствия, кроме одного — невозможна скука, потому что центр этого мира — человек, непрерывно растущий душою. И смысл этой жизни я не могу назвать иначе как святостью: это — культ чистоты, простоты, добросовестнейшее стремление к высшим целям человека».

Со своей стороны, и Толстой питал к Страхову чувства уважения и серьезного расположения. В письме к графине А. Толстой он называет своего друга «лучшим из людей». Толстой говорил, что писем Страхова он ждал с нетерпением, и что он с особенно приятным чувством распечатывает конверт с почерком Страхова. «Когда проснусь, то первое, что представляется, это — мое желание беседовать с вами» писал он ему однажды.

Помимо личной дружбы, Толстой ценил Страхова как философа. «Я уверен, что вы предназначены к чисто философской деятельности», писал он ему. «Я говорю «чисто» не в смысле отрешения от поэтического и религиозного объяснения вещей. Ибо философия чисто умственная есть уродливое западное проявление, и ни грек Платон, ни Шопенгауэр не понимали ее так. У вас есть одно качество, которое я не встречал ни у кого из русских — при ясности и краткости изложения предмета, мягкость, соединенная с силой. Вы не зубами рвете, а мягкими, сильными лапами». И затем добавляет: «но бросьте развратную журнальную деятельность».

Сам вечный искатель, Толстой ценил в Страхове вечную работу его мысли. «Мы с ним очень похожи нашими религиозными взглядами», писал он графине А. Толстой. «Ценим философию за то, что она подводит к религии, а сами верить не можем».

Толстой следил за деятельностью Страхова и читал некоторые из его книг. Он поздравляет Страхова с «Вечными истинами» за критику спиритизма, которую он сам в художественной форме воплотил затем в «Плодах просвещения». По поводу «Основ физиологии и психологии» Толстой

пишет Страхову: «Вы первый показываете ложность идеализма Канта и Шопенгауэра и ложность материализма. Мало того, вы доказываете душу».

Интересно, что в одном из писем Толстой упрекает Страхова в доле пантеизма, присущей его философии. Страхов, в ответ на это признает, что в период написания «Мира как целого» он был пантеистом, и, как бы оправдываясь, говорит: «мы не знаем другой науки кроме пантеистической». Однако, затем он добавляет, что теперь (писано в 1878 году) в центре его мирозерцания — не природа, а нравственный смысл жизни, и, в связи с этим, признается, что он многому научился у Толстого. Эта эволюция мирозерцания Страхова, — от натурализма (правда, и ранее — не-материалистического) к антропологическому морализму — совершилась, вероятно, не без влияния нравственной проповеди Толстого.

Во всяком случае, в нравственном мировосприятии между Толстым и Страховым было созвучие, и это объясняет как чистоту страховского учения, так и его ограниченность, — выразившуюся в его органической неспособности вместить в себе совмещение высот и глубин Достоевского.

### СТРАХОВ И ДОСТОЕВСКИЙ

Отношения Страхова с Достоевским заслуживали бы особой статьи. Как и в отношениях с Соловьевым, здесь так же ярко выражены и притяжение, и отталкивание, — и, пожалуй, еще в большей степени. Нас, однако, интересует теперь, главным образом, философский аспект отношений Страхова и Достоевского.

Известно, что первое знакомство Страхова с Достоевским относится к 60-му году, когда Достоевский, задумав, вскоре по своем возвращении из Сибири, издавать журнал «Время», привлек к сотрудничеству в этом журнале близких ему по мировоззрению лиц — Аполлона Григорьева и Страхова. В этот период он дружил со Страховым, и нередко заходил к нему в свободное от работы время. Повидимому, Страхов играл в это время роль как бы философского информатора Достоевского. В 1862 году, во время поездки за границу, Достоевский встречается в Женеве со Страховым и они вместе возвращаются в Россию. Полемические статьи Страхова, помещенные тогда во «Времени» и направленные против крайнего западничества, оказываются вполне созвучными Достоевскому, в это время писавшему свои



«Зимние заметки о летних впечатлениях». В этом же году из-за «роковой» статьи Страхова «Роковой вопрос», «Время» было закрыто цензурой.

Затем между ними наступает охлаждение. Сам Достоевский писал впоследствии, что Страхов «прибежал обратно лишь после успеха «Преступления и наказания» (1866 год). Но прежней дружбы между ними уже не было. Письма с ценными автобиографическими признаниями и сообщения о своих литературных замыслах Достоевский пишет скорее Майкову, чем Страхову.

В 70-х годах Страхов совсем охладел к Достоевскому, — он переживал восторженное увлечение Толстым и к Достоевскому стал относиться даже свысока. Сам Достоевский говорил о «неискренности» Страхова.

Эта неискренность и затаенная враждебность Страхова проявилась во весь рост в 1882 году, когда Страхов взялся писать биографию покойного писателя. В биографическом очерке Страхова много ценных фактических данных, — она долгое время служила одним из главных источников биографии писателя. Но портрет Достоевского, как он сквозит из очерка Страхова, стилизован под какую-то, не идущую к Достоевскому «благость». Видно, и этот биографический очерк Страхов писал неискренне. В письме к Толстому этого периода эта затаенная враждебность Страхова к Достоевскому проявилась в полной силе.

«Хочу исповедаться перед Вами. Все время писанья был я в борьбе, я боролся с подымавшимся во мне отвращением; старался подавить в себе это дурное чувство... Я не могу считать Достоевского ни хорошим ни счастливым человеком (что, в сущности, одно и то же). Он был зол, завистлив, развратен и он всю жизнь провел в таких волнениях, которые делали бы его смешным, если бы он не был при этом так зол и так умен. Сам же он, как Руссо, считал себя лучшим из людей». Далее Страхов сообщает, что он мог бы рассказать в биографии об отрицательных чертах характера Достоевского. «Тогда рассказ вышел бы гораздо правдивее», добавляет он, «но пусть эта правда погибнет, будем щеголять одною лицевою стороною жизни, как мы это делаем везде и во всем».

«Его тянуло к пакостям и он хвалился ими. Висковатов стал мне рассказывать, как он похвалялся тем, что... в бане с маленькой девочкой, которую привела ему гувернантка. За-

метьте при этом, что при животном сладострастии у него не было никакого вкуса, никакого чувства женской красоты или прелести. Это видно в его романах. Лица, наиболее на него похожие, — это герой «Записок из подполья», Свидригайлов и Ставрогин... При такой натуре он был очень расположен к сладкой сентиментальности, к высоким и гуманным мечтаниям — его направление, его литературная муза и дорога. В сущности, впрочем, все его романы составляют самооправдание, доказывают, что в человеке могут ужиться с благородством всякие мерзости».

Это — жестокий отзыв, пахнувший литературным доносом. В нем много правды, впрочем, односторонне поданной, но есть и прямая ложь (преступление в бане, как в этом сходится большинство биографов, вряд ли было совершено Достоевским). В целом же отзыв Страхова — клевета, в которой, как во всякой достойной внимания клевете, правда смешана с ложью. Как реакция на неписанное требование «иконописной» подачи портрета Достоевского, отзыв этот психологически понятен, что не делает его оправданным. Отзыв этот обнаруживает известную нравственную узость Страхова: он не мог понять широты Достоевского, совмещения полярностей в его душе. В Достоевском были одинаково сильны святой и «великий грешник», и вовсе не нужно, утверждая одно, сводить другое к обманной «лицевой» стороне, как это делает Страхов (сводя высокие религиозные идеалы Достоевского к «сладкой сентиментальности»).

Как бы то ни было, это не было окончательным словом Страхова о Достоевском. После получения известия о смерти Достоевского Страхов пишет, что известие это «глубоко потрясло» его, и добавляет: «Он стоял особняком среди литературы, почти сплошь враждебной, и говорил о том, что было признано за соблазн и за безумие (реминисценции из апостола Павла — «иудеям соблазн, римлянам безумие» *С. Л.*) — зрелище было такое, что я изумлялся».

Эти слова, может быть, не искупают того дышащего отворачиванием «доноса», который он написал Толстому, но все же вносят в этот уничтожающий отзыв положительные поправки.

В полемических статьях Страхова, направленных против «просвещения», высказана идея, что отрицание иерархичности мира (за которым скрывается отрицание Божества), неизбежно приводит и к отрицанию человека (точнее чело-

веческого в человеке). «После этих глубоких отрицаний, не заменяющих отрицаемого ничем положительным, осталось сделать еще одно последнее отрицание, и оно действительно приходило на язык западных мыслителей. Именно остается только отрицать человека. Пусть цивилизация гибнет... пусть нужно отвергнуть и философию и религию, можно всё-таки думать, что после всей этой гибели останется человечество, которое пойдет к новым идеалам... Отрицать это — вот конец отрицания. И до него дошел Запад в силу неизбежной логики. Не раз было сказано, что человек есть неудавшееся создание, попытка природы, в роде тех странных творений, которые были переходными ступенями к формам нынешних земных тварей. Если так, то нужно ждать нового геологического переворота, в котором погибнет человечество. Тогда новое создание, которое займет место человека, может быть, представит красоту и достоинство жизни, которые для нас, людей, невозможны».

Как на это указал Д. Чижевский, в этом Страхов предвосхитил обличения «отрицания человека» у атеистов Достоевского. Мало того, Достоевский воспользовался этими идеями Страхова в философски-насыщенном разговоре Ивана Карамазова с чортом. У Достоевского чорт рисует Ивану эту картину «геологического переворота» в следующих словах: «Люди совокупятся, чтобы взять у жизни все, что она может дать, но непременно для счастья и радости в этом мире. Человек возвеличится духом божеской, титанической гордости, и явится человекобог. Ежечасно побеждая природу, волею своею и наукою, человек тем самым будет ощущать наслаждение столь высокое, что оно заменит ему все прежние упования наслаждений небесных...».

Тот же Д. Чижевский отметил, что и идея сверхчеловека (тесно связанная с идеей «геологического переворота») была также предвосхищена Страховым (под именем «высшего человека»). Страховым же была предвосхищена ницшеанская идея «вечного возвращения», которая, в глазах Страхова, разоблачает бессмыслицу мироздания, к которой приводит «просвещенческое» мировоззрение.

Иван Карамазов в своем трагическом атеизме делает все логические выводы из наивно-оптимистической внешней стороны мировоззрения «просвещенцев», приходя к мысли и о сверхчеловеке (человекобоге) и о вечном возвращении. Установить здесь генетическую связь с идеями Страхова было бы

трудно. Вероятнее, что это было совпадение образа мышления. Однако, все это делает честь философской проницательности Страхова.

Так или иначе, представляется несомненным, что Достоевский воспользовался некоторыми родственными ему идеями Страхова в своей борьбе против атеизма. — Недаром Страхов в одном из писем Толстому упоминал, что Достоевский — «мой самый внимательный читатель».

### СТРАХОВ И РОЗАНОВ

Последние годы жизни Страхова были омрачены болезнью, сведшей его в могилу, но также озарены успехом, — пусть скромных размеров, — которого Страхов был лишен в молодые и зрелые годы. Его статьи выходят и теперь сборниками, иногда выдерживают несколько изданий. Сборники эти оказали — пусть не слишком сильное, но ощутительное и благотворное влияние на русскую общественность. Как замечает один критик: «благодаря Страхову, начала рассеиваться мгла и тьма нигилизма и радикализма, среди которых так долго блуждало наше общество».

Вокруг Страхова образовывается небольшой круг поклонников, видевших в нем «учителя» (Никольский, Говоруха-Отрок, Розанов). Среди этих поклонников нужно в первую очередь выделить Розанова, «открытого» именно Страховым. Их переписка сама по себе могла бы составить предмет исследования. Розанов, бывший тогда учителем в Вологде, пишет Страхову письма, выражая ему свое признание и прося содействия в деле своего выхода на литературную арену. Страхов выхлопатывает Розанову место в С. Петербурге, отечески наставляет его. Он хвалит книгу Розанова «О понимании», видя в его рассуждениях о «потенциальности» печать «большого философского дара». В то же время он критикует Розанова за поспешность и несистематичность его писаний, за «вещательный» тон и т. д. Страхов, конечно, не мог предвидеть, что именно в отрывочности писаний Розанова, в их неповторимом эмоциональном «подтексте» будет заключаться их главная сила. Тем не менее, он настолько ценит Розанова, что рекомендует Л. Толстому прочесть книгу Розанова «О месте христианства в истории», и Толстой дает одобрительный отзыв об этой книге.

В одном из более поздних писем Розанову, Страхов безо всякой видимой тени зависти, осведомляет своего недавнего

протее, что в приложении Колубовского о русской философии в «Истории философии» Ибервега-Гейнце ему, Розанову, отведено более места, чем Страхову.

Страхов приветствовал также книгу Розанова «О Великом Инквизиторе», как первую книгу, в которой воздано должное гению Достоевского.

В свою очередь, Розанов не остался неблагодарным Страхову. В своих статьях, особенно написанных после смерти Страхова, Розанов негодует на замалчивание заслуг Страхова в русской публицистике. Особенно обрушивается Розанов на пренебрежительную по тону статью, написанную о Страхове для «Энциклопедического Словаря» Венгеровым.

Первый том большого труда Розанова «Литературные изгнанники» целиком посвящен Страхову — и книга эта до сих пор является главным источником познания Страхова. Помимо своих отзывов о книгах и личности Страхова, Розанов поместил в этом сборнике различные некрологи, напечатанные после смерти Страхова.

---

Подводя общие итоги нашей теме, можно сказать, что Страхов явился одним из деятелей конца прошлого века, которые подготовили и расчистили почву для расцвета русской религиозно-философской мысли в начале двадцатого века. В этом смысле Страхов был меньшим сподвижником Достоевского, Толстого и Владимира Соловьева.

Страхов не был гений, но он был «учитель» в лучшем смысле этого слова. Говоря словами Розанова, он «стремился звать читателей от случайного и условного к Абсолютному».

Успеху Страхова мешало то обстоятельство, что он был мало доступен для людей, лишенных религиозного слуха и утонченной культуры. «К нему прислушивались лишь люди с трансцендентальной закваской» — успел сказать про него Аполлон Григорьев. В то же время Страхову был чужд религиозно-философский романтизм Вл. Соловьева и поколения Серебряного Века. Страхов был чересчур сложен для одних и казался чересчур прост для других. Но правильно было замечено, что Страхова можно перечитывать и находить все новые оттенки его мысли — черта, свойственная лишь людям, у которых «от избытка сердца глаголят уста».

Д. Чижевский в своей ценной книге «Гегель в России» выражает удивление, что русская интеллигенция так мало интересовалась Страховым. Это забвение Стрхова — не к чести русской философской критики. За последние годы этот пробел был отчасти заполнен главой о Стрхове в «Истории русской философии» о. В. Зеньковского. Однако, монография о Стрхове всё еще не появилась.

Настоящая работа отнюдь не претендует быть монографией. Но автор был бы рад, если бы эта статья привлекла большее внимание к Стрхову, как философу, литературному критику и прежде всего — как к человеку.

*С. Левицкий*